

Судебных исполнителей было трое: молодая женщина-пристав, здоровенный охламон с дубинкой и немецкая овчарка с очень умными и слезящимися глазами. Имущества было много, но описывать особо было нечего: все оно подпадало под одно емкое определение – хлам. Женщина-пристав, зажимая нос, так и сказала – Хлам! – и обвела комнату таким искренне-ненавидящим взглядом, что даже тараканы попрятались по щелям, а где-то в углу, затрещав, отклеились рассохшиеся обои с какими-то унылыми цветочками и сразу же стыдливо притихли. Овчарка заскулила. Охламон зевнул и прислонился

к дверному косяку, лениво прислушиваясь к шорохам и отголоскам коммунальной квартиры, разбуженной их ранним визитом.

Не торопясь, по-хозяйски, еще совсем не обращая внимания на притихшую и растрепанную Ниночку, женщина-пристав обошла комнату, все время брезгливо морщась, словно это ей предстояло теперь здесь жить, заглянула во вторую комнатку, превращенную в кладовку, в которойхлама было навалено еще больше, матерно выругалась, наткнувшись на какую-то рухлядь, оказавшуюся самой Ниночкой, зачем-то провела пальцем по запыленному экрану старенького, еще черно-белого и давно не работающего телевизора, ненадолго задержалась у сто лет не мытого окна, выходившего на черный двор с какими-то убогими сараюшками, мусорными бачками, ветхой поленницей, грязным снегом... Наконец, усевшись за большой круглый стол, находившийся посреди комнаты, и все также брезгливо откинув край несвежей скатерти, она разложила свои бумаги, щелкнула авторучкой – авторучка текла, и, не найдя ничего более подходящего, она промокнула ее о все ту же скатерть, все равно безбожно заляпанную, – строго посмотрела на Ниночку, напоминавшую своей худобой церковную свечку, и, вновь опустив глаза в свои бумаги и что-то небрежно записав – число, месяц, адрес, номер исполнительного листа, согласно которому проводилась опись, – заговорила.

Голос у нее был уставший, злой и нетерпеливый. Оттого, что Ниночка почти ничего не понимала, недослышивала и все время все переспрашивала, неуместно называя женщину-пристава то сестрицей, то доченькой – что ее только злило, – он очень часто срывался на крик, отчего Ниночка испытывала такой ужас, что становилась почти бесплотной, растворяясь в затхлом воздухе комнаты

и сливаясь с ее замызганными обоями, обшарпанным комодом, шкафом с битой полировкой и мутным бельмом зеркала посередине, больным, видимо, оттого, что уже много лет приходилось отражать одиночество, старость, убожество – и больше ничего.

Всякий раз, когда женщина-пристав начинала кричать, овчарка жалобно скулила, а в последний раз, когда она кричала особенно громко и долго, овчарка подошла к Ниночке, осторожно ее обнюхала и заглянула ей в глаза своими – мутными и слезящимися.

– Не надо, – честно предупредил охламон, когда Ниночка потянула руку, чтобы погладить собаку. – Может и укусить.

Но Ниночка или не расслышала, или не поверила – и стала гладить собаку, и та, вместо того чтобы укусить, как предупреждал охламон, наоборот, довольно заурчала, пытаясь поймать и лизнуть ее руку.

– Джина!.. – охламон лишь укоризненно покачал головой и отвернулся, прикрыв глаза ладонью, словно Джина сделала что-то непристойное, и ему за нее стыдно.

– Чучело, – презрительно огрызнулась женщина-пристав в сторону Джины, продолжая что-то устало записывать в своих бумагах. На Ниночку она уже не смотрела, словно врач, которому все уже давно ясно, а жалобы и нытье больного только раздражают.

Из всего сказанного Ниночка поняла только то, что она в чем-то очень сильно перед сестрицей провинилась, а поскольку надежды на то, что Ниночка исправится и как-то сумеет вину свою загладить, не было никакой, она, сестрица, собиралась выселить Ниночку из квартиры куда-то на край города, в какой-то интернат «для таких вот как она».

В дверях комнатки уже собрались соседи, человек пять или шесть: женщины в бигудях и линиялых халатах,

мужчины в засаленных трико и рваных майках. От этого по квартире, примешиваясь к устойчивым запахам кошачьей и человеческой мочи, распространились еще запахи вареной капусты, табачного дыма и перегара. Кто-то, кому было плохо видно, выглядывал из-за голов впереди стоящих, поднявшись на носочки, какой-то ребенок пролез совсем рядом, под ногами у взрослых, и теперь разглядывал охламона, у которого на поясе висела настоящая кобура.

Ни женщина-пристав, ни охламон, ни даже овчарка не обращали на них никакого внимания: они уже давно привыкли ко всем этим разговорам, ко всем пересудам и переливаниям из пустого в порожнее, о том, что не дадут старому человеку дожить спокойно, и к оправданиям, что «думала помирать, потому и не платила, но, видно, не рассчитала, не померла – уж простите», тоже привыкли, и они не трогали их сердец. Каждый думал о своем: женщина-пристав о том, что сегодня еще два или три адреса, а она уже совсем размотана, да еще не давал покоя вчерашний скандал с мужем и свекровью – как всегда, из-за денег и каких-то дурацких кредитов, которых он набрал непонятно подо что, – охламон думал тоже о чем-то своем, тошнотворно скучном и охламонском, Джина вспоминала запахи, услышанные за день, и обдумывала их.

И они ей не нравились.

Вернее, огорчали своей предсказуемостью и повторяемостью изо дня в день. Разве что мальчишка, проползший рядом на коленках, чтобы поближе рассмотреть кобуру у охламона на поясе, пахнул не противно, а даже наоборот – приятно, будто только что отжатым свежим творогом, и Джина незаметно успела лизнуть его за ухом, когда он проползал мимо. Все остальное сегодня – так же, как и вчера, и позавчера, и месяц назад – пахло противно. Все эти запахи, исходившие в основном от людей,

прорастая в мозгу какими-то уродливыми сосудистыми стеблями, толпились в ее голове, как непроходимый лес, наливаясь где-то высоко огромными, сизыми с прожилками, пузырями, которые, вызревая, зловонно лопались. Джина страдала. Джина понимала, что стала теперь стара. Запахи стали утомлять ее и перестали быть интересны. Это и есть старость. Раньше они могли веселить, раздражать, радовать, злить... А теперь наводили только тоску и уныние. Даже мальчишка, пахнувший свежим творогом, – даже с ним все было понятно, и его запах, хотя он и был приятен, наводил тоску. Во-первых, потому, что Джина никогда не пробовала творога и на секунду, наклонив голову, даже задумалась о том, что это такое, а во-вторых, к старости Джина как будто научилась различать и те запахи, которые еще не пришли, не пристали к человеку, но которые все равно уже были с ним, словно семена тех самых уродливых и сосудистых стеблей. И почти всегда будущее было настолько зловонным и неотвратимым, настолько уныло однообразным и нахально обоняемым, словно отливавшая грязно-синим цветом татуировок вонь табака и сивухи, что хотелось заскулить от жалости или околеть прямо здесь, не сходя с места.

С Ниночкой тоже все было понятно – она была стара, одинока и беспомощна. И они втроем пришли, чтобы выгнать ее из ее же конуры за эту беспомощность и ненужность. За последний год службы Джина насмотрелась на таких «ниночек» досыта, и они всегда невыносимо злили и раздражали ее, так, что само по себе где-то в глубине живота вскипало рычание, перетекая в гортань угрожающим хрипом, а взгляд стекленел от ненависти. И она никогда не понимала, почему хозяйка каждый раз так долго возится с ними, все время что-то говорит, пишет и объясняет им, когда она, Джина, могла бы просто оскалиться, зарычать и выгнать их своим звонким лаем за минуту,

и зачем ее каждый раз берут с собой, если никогда не позволяют этого сделать.

Но сегодня, то ли от крика хозяйки на Ниночку, то ли от вкусного запаха творога и детства, почти неуловимого среди общей вони, то ли еще от чего-то, но один из самых больших и уродливых стеблей в ее голове, в том самом непроходимом лесу, – словно надломился, и пузырь у него наверху лопнул, и Джина с тоской и ужасом учуяла теплое и гнилое дыхание собственной старости и ненужности. И оно было почти неотлично от Ниночкиного запаха. И когда дрожащая и высохшая Ниночкина рука потянулась к ее голове, ей совсем не хотелось ни рычать, ни скалиться, ни лаять, ни тем более кусать ее, а захотелось вдруг положить голову Ниночке на колени и заурчать, заскулить, заплакать, заснуть и проснуться щенком, глупым и щекастым увальнем, перед которым ставят миску со свежим, еще влажным творогом, а он, недотепа, спросонья еще и не понимает, и не знает, что с ним делать, и, недоверчиво принюхиваясь, только смотрит перед собой и осторожно «тяпает» миску лапой.

– Джина!..

Джина вдруг почувствовала – а от неожиданности и боли даже взвизгнула, – что ошейник туго, рывком, сдавил ее шею, да так, что у нее сбилось дыхание: это охламон резко дернул поводок и потянул его на себя, заметив, что она совсем по-домашнему пристроила голову на коленях у Ниночки и задремала.

Спросонья еще не разобрав, что происходит, Джина виновато потупила глаза, прижала уши и, как-то наискосок склонив голову и жалобно повизгивая, потрусила к охламону. Но, получив два хлестких удара поводком по спине, прижалась всем туловищем к полу и внезапно – даже для самой себя – угрожающе и утробно зарычала и оскалилась на охламона. Охламон с удивлением

посмотрел на нее – ему вдруг показалось, что Джина его не узнает. Он хотел еще раз ударить ее и уже замахнулся, но собака зарычала еще громче, не сводя взгляда с его руки, и он передумал, решив, что надо дать ей успокоиться. Поняв, что больше, по крайней мере сейчас, бить ее не будут, Джина перевела взгляд на Ниночку и еще какую-то женщину, сидевшую за столом и явно бывшую здесь главной, и от которой – Джина сразу это учуяла – и исходила настоящая опасность. Старуха тоже, конечно, пахла противно, но Джина ее помнила, и она не могла ничем угрожать, а вот эта, молодая, за столом...

И тут Джина вспомнила еще кое-что, и это воспоминание так удивило и обидело ее, что она, позабыв и про охламона с поводком, и про то, что он только что замахивался на нее и хотел ударить, выпрямилась во весь рост и села, не понимая, почему она вдруг стала такая большая и такая старая. Уже. Сразу. Так быстро.

Глаза ее наполнила студенистая влага обиды, и все вокруг вдруг поплыло, будто налили в них жидкого стекла. Даже люди в комнате двигались теперь с трудом, будто в вязком, тягучем и холодном расплаве, а в голове у Джинны один за другим бесшумно лопались те самые зловонные сизые пузыри на верхушках стеблей, совершенно перебивая запах свежего творога, миска с которым вот только что стояла перед ней, когда она еще – всего минуту назад – была щенком.

Джина тоскливо и вопросительно залаяла, глядя то на Ниночку, то на эту, за столом, то на охламона, и этот ее лай – хриплый, надсадный и будто бы разбухший от обиды – был похож на едва сдерживаемые человеческие рыдания.

– Чего это она разбрехалась? – спросила охламона эта, за столом, уже складывая свои бумаги в портфель.

И вдруг, увидев эти сборы, Джина поняла, что вот сейчас все может закончиться, что вот сейчас ее отсюда,

где она только что была щенком, навсегда уведут, и вернуться сюда она уже не сможет, и запах свежего отжато-того творога тоже никогда не вернется, а значит, и стать снова щенком ей тоже нельзя уже будет никогда. А вот прямо сейчас еще можно, вот прямо сейчас, пока еще не ушли, пока ее не увели, пока не так много времени еще прошло – можно попробовать. Надо только что-то сделать, чтобы задержаться здесь, что-то предпринять, остановить их. Джина разволновалась. Дыхание ее стало частым и тяжелым, как будто она только что пробежала дистанцию с барьерами. Язык вывалился из пасти набок. Слюна потекла ручьем.

Когда же она поняла, что нужно сделать, дыхание у нее снова стало ровным, а жидкое стекло в глазах мгновенно застыло, и комната вокруг перестала плыть, и все, как и прежде, сделалось четким и резким.

И как только эта, за столом, убрала последние стопки бумаги, и блестящая пряжка на портфеле звонко защелкнулась – Джина прыгнула...

... Потом охлмона еще с месяц таскали по разным инстанциям, кабинетам, комиссиям, дознавателям, заставляя писать разнообразные рапорты, отчеты, объяснительные, выясняя, почему он выстрелил так поздно, допустив нападение служебной собаки на судебного пристава, почему он вообще стрелял, подвергая опасности жизни людей, находящихся в помещении, и как такое вообще могло получиться, что у него оказалось с собой боевое оружие, что за необходимость была в нем на таком задании.

Джина, конечно, никогда ничего подобного не могла бы вообразить или хоть на мгновение представить, что ее прыжок будет иметь такие последствия. Последнее, что она могла бы запомнить и почувствовать, была детская рука, пахнувшая чем-то свежим и приятным и глядящая



ее по голове, которая сама почему-то скользила в чем-то липком и теплом, и беспокойный женский голос, уговаривающий какого-то ребенка: «Митя, не смотри! Митя, не смотри!» Джине было очень интересно, на что же нельзя было смотреть Мите, и она хотела встать и тоже пойти посмотреть, но почему-то не могла пошевелить ни одной лапой, ни головой, ни даже хвостом.